



**Т. ШЕВЧЕНКО**  
**ХУДОЖНИК**



 **FOLIO**

Тарас Шевченко

**Художник**

«Фолио»

1856

## **Шевченко Т. Г.**

Художник / Т. Г. Шевченко — «Фолио», 1856

Т. Г Шевченко (1814–1861) – видатний український поет, талановитий прозаїк і драматург, визначний художник, у творах якого знайшла відображення ціла епоха нашої історії. Повість «Художник» якоюсь мірою автобіографічна. В образі талановитого художника вгадується сам автор. Тут діють і реальні персонажі: К Брюллов, А Венеціанов, В Жуковський, завдяки яким кріпак Шевченко став вільною людиною.

© Шевченко Т. Г., 1856

© Фолио, 1856

## Содержание

Конец ознакомительного фрагмента.

20

# Тарас Григорович Шевченко

## Художник



1814–1861

*25 января 1856.*

Великий Торвальдсен начал свое блестящее артистическое поприще вырезыванием орнаментов и тритонов с рыбьими хвостами для тупоносых копенгагенских кораблей. Герой мой тоже, хотя и не так блестящее, но тем не менее артистическое поприще начал растиранием охры и мумии в жерновах и крашением полов, крыш и заборов. Безотрадное, безнадежное начинание. Да и много ли вас, счастливых гениев-художников, которые [иначе] начинали? Весьма и весьма немного. В Голландии, например, во время самого блестящего золотого ее периода Остаде, Бергем, Теньер и целая толпа знаменитых художников (кроме Рубенса и Ван-Дейка) в лохмотьях начинали и кончали свое великое поприще. Несправедливо было бы указывать на одну только меркантильную Голландию. Разверните Базари и там увидите то же самое, если не хуже. Я говорю потому хуже, что тогда даже политика наместников святого Петра требовала изящной декорации для ослепления толпы и затмения еретического учения Виклефа и Гуса, уже начинавшего воспитывать неустрашимого доминиканца Лютера. И тогда, говорю, когда Лев X и Леон II спохватились и сыпали золото встречному и поперечному маляру и каменщику, и в то золотое время умирали великие художники с голоду, как, например, Корреджио и Цампиери. И так случалось (к несчастью, весьма нередко) всегда и везде, куда только проникало божественное животворящее искусство!

[Случается] и [в] наш девятнадцатый просвещенный век, век филантропии и всего клонящегося к пользе человечества, при всех своих средствах о[т]странить и укрыть жертвы Карающей богине обреченной.

За что же, вопрос, этим олицетворенным ангелам, этим представителям живой добродетели на земле, выпадает почти всегда такая печальная, такая горькая доля? Вероятно, за то, что они ангелы во плоти.

Эти рассуждения ведут только к тому, что отдаляют от читателя предмет, который я намерен ему представить как на ладони.

Летние ночи в Петербурге я почти всегда проводил на улице или где-нибудь на островах, но чаще всего на академической набережной. Особенно мне нравилось это место, когда Нева спокойна и, как гигантское зеркало, отражает в себе со всеми подробностями величественный портик Румянцовского музея, угол сената и красные занавеси в доме графини Лаваль. В зимние длинные ночи этот дом освещался внутри, и красные занавеси, как огонь, горели на темном фоне, и мне всегда досадно было, что Нева покрыта льдом и снегом и декорация теряет свой настоящий эффект.

Любил я также летом встречать восход солнца на Троицком мосту. Чудная, величественная картина!

В истинно художественном произведении есть что-то обаятельное, прекраснее самой природы, это возвышенная душа художника, это божественное творчество. Зато бывают и в природе такие чудные явления, перед которыми поэт-художник падает ниц и только благодарит творца за сладкие, душу чарующие мгновения.

Я часто любовался пейзажами Щедрина, и в особенности пленяла меня его небольшая картина «Портичи перед закатом солнца». Очаровательное произведение! Но оно меня никогда не очаровывало так, как вид с Троицкого моста на Выборгскую сторону перед появлением солнца.

Однажды, насладившись вполне этою нерукотворенною картиною, я прошел в Летний сад отдохнуть. Я всегда, когда мне случалось бывать в Летнем саду, не останавливался ни в одной аллее, украшенной мраморными статуями: на меня эти статуи делали самое дурное впечатление, особенно уродливый Сатурн, пожирающий такое же, как и сам, уродливое свое дитя. Я проходил всегда мимо этих неуклюжих богинь и богов и садился отдохнуть на берегу озера и любовался прекрасною гранитною вазою и величественною архитектурою Михайловского замка.

Приближаясь к тому месту, где большую аллею пересекает поперечная аллея и где в кругу богинь и богов Сатурн пожирает свое дитя, я чуть было не наткнулся на живого человека в тиковом грязном халате, сидящего на ведре, как раз против Сатурна.

Я остановился. Мальчик (потому что это, действительно, был мальчик лет четырнадцати или пятнадцати) оглянулся и начал что-то прятать за пазуху. Я подошел к нему ближе и спросил, что он здесь делает.

– Я ничего не делаю, – отвечал он застенчиво. – Иду на работу, да по дороге в сад зашел. – И, немного помолчав, прибавил: – Я рисовал.

– Покажи, что ты рисовал.

И он вынул из-за пазухи четвертку серой писчей бумаги и робко подал мне. На четвертке был назначен довольно верно контур Сатурна.

Долго я держал рисунок в руках и любовался запачканным лицом автора. В неправильном и худощавом лице его было что-то привлекательное, особенно в глазах, умных и кротких, как у девочки.

– Ты часто ходишь сюда рисовать? – спросил я его.

– Каждое воскресенье, – отвечал он. – А если близко где работаем, то и в будни захожу.

– Ты учишься малярному мастерству?

– И живописному, – прибавил он.

– У кого же ты находишься в ученьи?

– У комнатного живописца Ширяева. Я хотел расспросить его подробнее, но он взял в одну руку ведро с желтой краской, а в другую желтую же обтертую большую кисть и хотел идти.

– Куда ты торопишься?

– На работу. Я и то уж опоздал, хозяин придет, так достанется мне.

– Зайди ко мне в воскресенье поутру, и если есть у тебя какие-нибудь рисунки своей работы, то принеси мне показать.

– Хорошо, я приду, только где вы живете?

Я записал ему адрес на его же рисунке, и мы расстались.

В воскресенье поутру рано я возвратился из всенощной своей прогулки, и в коридоре перед № моей квартиры встретил меня мой новый знакомый, уже не в тиковом грязном халате, а в чем-то похожем на сертук коричневого цвета, с большим свертком бумаги в руке. Я поздоровался с ним и протянул ему руку; он бросился к руке и хотел поцеловать. Я отдернул руку:

меня сконфузило его раболепие. Я молча вошел в квартиру, а он остался в коридоре. Я снял сертук, надел блузу, закурил сигару, а его все еще нет в комнате. Я вышел в коридор, смотрю, приятеля моего как не бывало. Я сошел вниз, спрашиваю дворника:

– Не видал такого?

– Видел, – говорит, – малого с бумагами в руке, выбежал на улицу.

Я на улицу – и след простыл. Мне стало грустно, как будто я потерял что-то дорогое мне. Скучал я до следующего воскресенья и никак не мог придумать, что бы такое значил внезапный побег моего приятеля. Дождавшись воскресенья, я во втором часу ночи пошел на Троицкий мост и, полюбовавшись восходом солнца, пошел в Летний сад, обошел все аллеи – нет моего приятеля. Хотел было уже идти домой, да вспомнил Аполлона Бельведерского, т. е. пародию на Бельведерского бога, стоящего особнячком у самой Мойки. Я туда. А приятель мой [тут] как тут. Увидя меня, он бросил рисовать и покраснел до ушей, как ребенок, пойманный за кражею варенья. Я взял его за дрожащую руку и, как преступника, повел в павильон. И мимоходом велел трактирному заспанному гарсону принести чаю.

Как умел, обласкал моего приятеля, и когда он пришел в себя, я спросил его, зачем он убежал из коридора.

– Вы на меня рассердились. И я испугался, – отвечал он.

– И не думал я на тебя сердиться, – сказал я ему. – Но мне неприятно было твое унижение. Собака только руки лижет, а человек этого не должен делать. – Это сильное выражение так подействовало на моего приятеля, что он опять было схватил мою руку.

Я рассмеялся, а он покраснел как рак и стоял молча, потупя голову. Напившись чаю, мы расстались. На расставаньи я сказал ему, чтобы он непременно зашел ко мне или сегодня, или в следующее воскресенье.

Я не имею счастливой способности сразу разгадывать человека, зато имею несчастную способность быстро сближаться с человеком. Потому, говорю, несчастную, что редкое быстрое сближение мне обходилось даром. В особенности с кривыми и косыми: эти кривые и косые дали мне знать себя. Сколько ни случалось мне с ними [встречаться], хоть бы один из них порядочный человек. Начисто дрянь. Или это уже мое такое счастье.

Всего третий раз я вижу моего нового знакомого, но я уже с ним сблизился, я уже к нему привязался, уже полюбил его. И действительно, в его физиономии было что-то такое, чего нельзя не полюбить. Физиономия его, сначала некрасивая, с часу на час делалась для меня привлекательнее. Ведь есть же на свете такие счастливые физиономии!

Я пошел прямо домой, бояся, чтобы не заставить приятеля своего ждать себя в коридоре. Что же? Вхожу на лестницу, а он уже тут. В том же коричневом сертучке, умытый, причесанный и улыбающийся.

– Ты порядочный скороход, – сказал я. – Ведь ты еще заходил к себе на квартиру? Как же ты успел так скоро?

– Да я торопился, – отвечал он, – чтобы быть дома, как хозяин от обедни придет.

– Разве у тебя хозяин строгий? – спросил я.

– Строгий и...

– И злой, ты хочешь сказать.

– Нет, скупой, хотел я сказать. Он побьет меня, а сам рад будет, что я опоздал к обеду.

Мы вошли в комнату. У меня стояла на мольберте [копия] с старика Веласкеца, что в Строгановой галерее, и он прильнул к ней глазами. Я взял у него из рук сверток, развернул и стал рассматривать. Тут было все, что безобразит Летний сад, от вертлявых, сладко улыбающихся богинь до безобразного Фраклита и Гераклита. А в заключение несколько рисунков с барельефов, украшающих фасады некоторых домов, в том числе и барельефы из купидонов, украшающие дом архитектора Монферрана, что на углу набережной Мойки и Фонарного переулка.

Одно, что меня поразило в этих более нежели слабых контурах, это необыкновенное сходство с оригиналами, особенно контуры Фраклита и Гераклита. Они выразительнее были своих подлинников, правда и уродливее, но все-таки на рисунки нельзя было смотреть равнодушно.

Я в душе радовался своей находке. Мне и в голову тогда не пришло спросить себя, что я буду делать с моими больше нежели ограниченными средствами с этим алмазом в коже? Правда, у меня и тогда мелькнула эта мысль, да тут же и окунулась в пословицу: «Бог не без милости, козак не без доли».

– Отчего у тебя нет ни одного рисунка оттушеванного? – спросил я его, отдавая ему сверток.

– Я рисовал все эти рисунки поутру рано, до восхода солнца.

– Значит, ты не видал их, как они освещаются?

– Я ходил и днем смотреть на них, но тогда нельзя было рисовать: люди ходили.

– Что же ты намерен теперь делать: остаться у меня обедать или идти домой?

Он, с минуту помолчав и не подымая глаз, едва внятно сказал:

– Я остался бы у вас, если вы позволите.

– А как же ты после разделаешься с хозяином?

– Я скажу, что спал на чердаке.

– Пойдем же обедать.

У мадам Юргенс еще посетителей никого не было, когда мы пришли, и я был очень рад. Мне неприятно бы было встретить какую-нибудь чиновничью вытуженную физиономию, бессмысленно улыбающуюся, глядя на моего, далеко не щеголя, приятеля.

После обеда я думал было повести его в Академию и показать ему «Последний день Помпеи». Но не все вдруг. После обеда я предложил ему или идти погулять на бульвар, или читать книгу. Он выбрал последнее. Я же, чтобы проэкзаменовать его и в этом предмете, заставил читать вслух. На первой странице знаменитого романа Диккенса «Никлас Никльби» я заснул. Но в этом ни автор, ни чтец не повинны: мне просто хотелось спать, потому что я ночью не спал.

Когда я проснулся и вышел в другую комнату, мне как-то приятно бросилась в глаза моя отчаянная студия. Ни окурков сигар, ни табачного пеплу нигде не было заметно, везде все было убрано и выметено, даже палитра, висевшая на гвозде с засохшими красками, и она была вычищена и блестела, как стеклушко; а виновник всей этой гармонии сидел у окна и рисовал маску знаменитой натурщицы Торвальдсена Фортунаты.

Все это было для меня чрезвычайно приятно. Эта услуга ясно говорила в его пользу. Я, однако ж, не знаю почему, не дал ему заметить моего удовольствия. Поправил ему контур, положил тени, и мы отправились в «Капернаум» чай пить. «Капернаум» – сиречь трактир «Берлин» на углу Шестой линии и Академического переулка. Так окрестил его, кажется, Пименов во время своего удалого студенчества.

За чаем рассказал он мне про свое житье-бытье. Грустный, печальный рассказ. Но он рассказал его так наивно-просто, без тени ропота и укоризны. До этой исповеди я думал о средствах к улучшению его воспитания, но, выслушавши исповедь, и думать перестал. Он был крепостной человек.

Меня так озадачило это грустное открытие, что я потерял всякую надежду на его переобразование. Молчание длилось по крайней мере полчаса. Он разбудил меня от этого столбняка своим плачем. Я взглянул на него и спросил, чего он плачет? «Вам неприятно, что я...» Он не договорил и залился слезами. Я разуверил его как мог, и мы возвратились ко мне на квартиру.

Дорогой встретился нам старик Венецианов. После первых приветствий он пристально посмотрел на моего товарища и спросил, добродушно улыбаясь:

– Не будущий ли художник?



Я сказал ему:

– И да, и нет.

Он спросил причину. Я объяснил ему шепотом. Старик задумался, пожал мне крепко руку, и мы расстались.

Венецианов своим взглядом, своим пожатием руки как бы упрекнул меня в безнадежности. Я ободрился и вспомнил некоторых художников, учеников и воспитанников Венецианова, увидел, правда, неясно, что-то вроде надежды на горизонте.

Protégé мой ввечеру, прощаясь со мною, просил у меня какого-нибудь эстампика срисовать. У меня случился один экземпляр, в то время только что напечатанный «Геркулес Фарнежский», выгравированный Служинским по рисунку Завьялова, и еще «Аполлино» Лосенка. Я завернул оригиналы в лист петергофской бумаги, снабдил его итальянскими карандашами, дал наставление, как предохранять их от жесткости, и мы вышли на улицу. Он пошел домой, а я к старику Венецианову.

Не место, да и некстати распространяться здесь об этом человеколюбце-художнике; пускай это сделает один из многочисленных учеников его, который подробнее меня знает все его великодушные подвиги на поприще искусства.

Я рассказал старику все, что знал о моей находке, и просил его совета, как мне действовать на будущее время, чтобы привести дело к желаемым результатам. Он, как человек практический в делах такого рода, не обещал мне и не советовал ничего положительно. Советовал только познакомиться с его хозяином и по мере возможности стушевывать его настоящее жесткое положение.

Я так и сделал. Не дожидаясь воскресенья, я на другой день до восхода солнца пошел в Летний сад, но, увы! не нашел там моего приятеля; на другой день тоже, на третий тоже. И я решил ждать, что воскресенье скажет.

В воскресенье поутру явился мой приятель. И на спрос мой, почему он не был в Летнем саду, сказал мне, что у них началась работа в Большом театре (в то время Кавос переделявал внутренность Большого театра) и что по этой причине он теперь не может посещать Летний сад.

И это воскресенье мы провели с ним, как и прошедшее. Ввечеру, уже расставаясь, я спросил имя его хозяина и в какие часы он бывает на работе.

На следующий же день я зашел в Большой театр и познакомился с его хозяином. Расхвалил безмерно его припорохи и потолочные чертежи собственной его композиции, чем и положил прочный фундамент нашему знакомству.

Он был цеховой мастер живописного и малярного цеха. Держал постоянно трех, иногда и более замарашек в тиковых халатах под именем учеников и, смотря по надобности, от одного до десяти нанимал, поденно и помесечно, костромских мужичков – маляров и стекольщиков, – следовательно, он был в своем цеху не последний мастер и по искусству, и по капиталу. Кроме упомянутых материальных качеств, я у него увидел несколько гравюр на стенах Одрана и Вольпато, а на комодке несколько томов книг, в том числе и «Путешествие Анахарсиса Младшего». Это меня ободрило. Но, увы! когда я ему издали намекнул о улучшении состояния его тиковых учеников, он удивился такой дикой мысли и начал мне доказывать, что это не повело бы ни к чему больше, как к собственной их же гибели.

На первый раз я ему не противоречил. Да и напрасно было б уверять его в противном. Люди материальные и неразвитые, прожившие свою скудную юность в грязи и испытаниях и кое-как выползшие на свет Божий, не веруют ни в какую теорию. Для них не существует других путей к благосостоянию, кроме тех, которые они сами прошли. А часто к этим грубым убеждениям примешивается еще грубейшее чувство: меня, дескать, не гладили по головке, за что я буду гладить?

Мастер живописного цеха, кажется, не чужд был этого античеловеческого чувства. Мне, однако, со временем удалось уговорить его, чтобы он не препятствовал моему protégé посещать меня по праздникам и в будни, когда работы не бывает, например зимою. Он хотя и согласился, но все-таки смотрел на это как на баловство, совершенно ни к чему не ведущее, кроме погибели. Он чуть-чуть не угадал.

Минуло лето и осень, настала зима. Работы в Большом театре были окончены, театр открыт, и очаровательница Тальони начала свои волшебные операции. Молодежь из себя выходила, а старичье просто бесновалось. Одни только суровые матроны и отчаянные львицы упорно дулись и во время самых неистовых аплодисментов с презрением произносили: «Mauvais genre».<sup>1</sup> А неприступные пуританки хором воскликнули: «Разврат! разврат! Открытый публичный разврат!» И все эти ханжи и лицемерки не пропускали ни одного спектакля Тальони. И когда знаменитая артистка согласилась быть *princesse Troubeckoy* – они первые оплакивали великую потерю и осуждали женщину за то, чего сами не могли сделать при всех косметических средствах.

Карл Великий (так называл покойный Василий Андреевич Жуковский покойного же Карла Павловича Брюллова) безгранично любил все прекрасные искусства, в чем бы они ни проявлялись, но к современному балету он был почти равнодушен, и если говорил он иногда о балете, то не иначе, как о сахарной игрушке. В заключение своего триумфа Тальони протанцовала качучу (в балете «Хитана»). В тот же вечер разлетелась качуча по всей нашей Пальмире. А на другой день она уже властвовала и в палатах аристократа, и в скромном уголке коменского чиновника. Везде качуча: и дома, и на улице, и за рабочим столом, и в трактире, и... за обедом, и за ужином – словом, всегда и везде качуча. Не говорю уже про вечера и вечеринки, где качуча сделалась необходимым делом. Это все ничего, красоте и юности все это к лицу. А то почтенные матери и даже отцы семейств – и те туда же. Это просто была болезнь св. Витта в виде качучи. Отцы и матери вскоре опомнились и нарядили в хитан своих едва начинавших ходить малюток. Бедные малютки, сколько вы слез пролили из-за этой проклятой качучи! Но зато эффект был полный, эффект, дошедший до спекуляции. Например, если у амфитриона не имелось собственного карапузика, то вечеринка украшалась карапузиком-хитаном, взятым напрокат.

Свежо предание, а верится с трудом.

В самый разгар качучемании посетил меня Карл Великий (он любил посещать своих учеников), сел на кушетке и задумался. Я молча любовался его умной кудрявой головой. Через минуту он быстро поднял глаза, засмеялся и спросил меня:

– Знаете что?

– Не знаю, – ответил я.

– Сегодня Губер (переводчик «Фауста») обещал мне достать билет на «Хитану». Пойдемте.

– В таком случае пошлите своего Лукьяна к Губеру, чтобы он достал два билета.

– Не сбегает ли этот малый? – сказал он, показывая на моего протеже.

– И очень сбегает, пишите записку.

На лоскутке серой бумаги он написал италианским карандашом: «Достань два билета. К. Брюллов». К этому лаконическому посланию я прибавил адрес, и Меркурий мой полетел.

– Что это у вас, модель или слуга? – спросил он, показывая на затворяющуюся дверь.

– Ни то ни другое, – отвечал я.

– Физиономия его мне нравится: не крепостная.

– Далеко не крепостная, а между тем... – я не договорил, остановился.

– А между тем, он крепостной? – подхватил он.

---

<sup>1</sup> Плохой тон (*фр.*).

– К несчастью, так, – прибавил я.

– Барбаризм! – прошептал он и задумался. После минуты раздумья он бросил на пол сигару, взял шляпу и вышел, но сейчас же воротился и сказал: – Я дождусь его, мне хочется еще взглянуть на его физиономию. – И, закуривая сигару, сказал: – Покажите мне его работу!

– Кто вам подсказал, что у меня есть его работа?

– Должна быть, – сказал он решительно. Я показал ему маску Лаокоона, рисунок оконченный, и следок Микель-Анжело, только проложенный. Он долго смотрел на рисунки, т. е. держал в руках рисунки, а смотрел – бог его знает, на что он смотрел тогда. «Кто его господин?» – спросил он, подняв голову. Я сказал ему фамилию помещика. «О вашем ученике нужно хорошенько подумать. Лукьян обещался угостить меня ростбифом, приходите обедать. – Сказавши это, он подошел к двери и опять остановился: – Приведите его когда-нибудь ко мне. До свидания». И он вышел.

Через четверть часа возвратился мой Меркурий и объявил, что они, т. е. Губер, хотели сами зайти к Карлу Павловичу.

– А знаешь ли ты, кто такой Карл Павлович? – спросил я его.

– Знаю, – отвечал он, – только я его никогда в лицо не видел.

– А сегодня?

– Да разве это он был?

– Он.

– Зачем же вы мне не сказали, я хоть бы взглянул на него. А то я думал, так просто какой-нибудь господин. Не зайдет ли он к вам еще когда-нибудь? – спросил он после некоторого молчания.

– Не знаю, – сказал я и начал одеваться.

– Боже мой, Боже мой! Как бы мне на него хоть издали посмотреть. Знаете, – продолжал он, – я, когда иду по улице, все об нем думаю и смотрю на проходящих, ищу глазами его между ими. Портрет его, говорите, очень похож, что на «Последнем дне Помпеи»?

– Похож, а ты все-таки не узнал его, когда он был здесь. Ну, не горюй, если он до воскресенья не зайдет ко мне, то в воскресенье мы с тобой сделаем ему визит. А пока вот тебе билет к мадам Юргенс. Я сегодня дома не обедаю.

Сделавши такое распоряжение, я вышел.

В мастерской Брюллова я застал В. А. Жуковского и М. Ю. графа Вельегорского. Они любовались еще неоконченной картиной «Распятие Христа», писанной для лютеранской церкви Петра и Павла. Голова плачущей Марии Магдалины уже была окончена, и В. А. Жуковский, глядя на эту дивную плачущую красавицу, сам заплакал и, обнимая Карла Великого, целовал его, как бы созданную им красавицу.

Нередко случалось мне бывать в Эрмитаже вместе с Брюлловым. Это были блестящие лекции теории живописи. И каждый раз лекция заключалась Теньером и в особенности его «Казармой». Перед этой картиной надолго, бывало, он останавливался и после восторженного, сердечного панегирика знаменитому фламандцу говаривал:

– Для этой одной картины можно приехать из Америки.

То же самое можно теперь сказать про его «Распятие» и в особенности про голову рыдающей Марии Магдалины.

После объятий и поцелуев Жуковский вышел в другую комнату; Брюллов, увидевши меня, улыбнулся и пошел за Жуковским. Через полчаса они возвратились в мастерскую, и Брюллов, подойдя ко мне, сказал улыбаясь: «Фундамент есть». В это самое время дверь растворилась, и вошел Губер, уже не в путевском мундире, а в черном щегольском фраке. Едва успел он раскланяться, как подошел к нему Жуковский и, дружески пожимая ему руку, просил

его прочитать последнюю сцену из «Фауста», и Губер прочитал. Впечатление было полное, и поэт был награжден искренним поцелуем поэта.

Вскоре Жуковский и граф Вельегорский вышли из мастерской, и Губер на просторе прочитал нам новорожденную «Терпсихору», после чего Брюллов сказал:

- Я решительно не еду смотреть «Хитану».
- Почему? – спросил Губер.
- Чтобы сохранить веру в твою «Терпсихору».
- Как так?
- Лучше веровать в прекрасный вымысел, нежели...

– Да ты хочешь сказать, – прервал его поэт, – что мое стихотворение выше божественной Тальони. Мизинца! ногтя на ее мизинце не стоит, Богом тебе божусь. Да, я чуть было не забыл: мы сегодня у Александра едим макароны и стофатто с лакрима-кристи. Там будет Нестор, Миша и cetera, cetera... И в заключение Пьяненко. Едем! – Брюллов взял шляпу. – Ах, да! Я и забыл... – продолжал Губер, вынимая из кармана билеты. – Вот тебе два билета. А после спектакля к Нестору на биржу (так в шутку назывались литературные вечера Н. Кукольника).

- Помню, – отвечал Брюллов и, надевая шляпу, подал мне билет.
- И вы с нами? – сказал Губер, обращаясь ко мне.
- И я с вами, – ответил я.
- Едем! – сказал Губер, и мы вышли на коридор. Лукьян, затворяя двери, проворчал:
- Вот тебе и ростбиф!

После макарон, стофатто и лакрима-кристи компания отправилась на биржу, а мы, т. е. я, Губер и Карл Великий, пошли в театр. В ожидании увертюры я любовался произведениями моего protégé. (Для всех орнаментов и арабесок, украшающих плафон Большого театра, рисунки были сделаны им по указаниям архитектора Кавоса. Это сообщил мне не сам он и не честолюбивый его хозяин, а машинист Карташов, который присутствовал постоянно при работах и по утрам рано угощал чаем моего протеже.) Я хотел было сказать Брюллову про арабески своего ученика, но увертюра грянула. Все, в том числе и я, устремил [и] глаза на занавесь. Увертюра кончилась, занавесь вздрогнула и поднялась. Начался балет. До качучи все шло благополучно, публика держала себя, как и всякая благовоспитанная публика. С первым ударом кастаньет все вздрогнуло и затрепетало. Аплодисменты тихо, как раскаты грома вдали, пронеслись по зале, потом громче и громче, и – качуча кончена, – и гром разразился. Благовоспитанная публика, в том числе и я, грешный, взбеленилась, ревет, кто во что горазд: кто bravo, кто да саро, а кто только стонет да ногами и руками работает. После первого припадка взглянул я на Карла Великого, а у него, бедного, пот катится – работает руками и ногами и что есть духу кричит: «Да саро!» Губер тоже. Я немного перевел дух, да и себе ну валять за учителем. Мало-помалу ураган начал стихать, и в десятый раз вызванная чаровница выпорхнула на сцену и после нескольких самых грациозных приседаний исчезла. Тогда Карл Великий встал, вытер пот с чела и, обращаясь к Губеру, сказал:

- Пойдем на сцену, познакомь меня с ней.
- Пойдем, – сказал Губер восторженно. И мы пошли за кулисы.

За кулисами уже роилась толпа поклонников, состоящая большею частью из почтенных лысин, очков и биноклей. Мы и себе пристроились к толпе. Не без труда просунулись мы в центр этой массы. И Боже, что мы там увидели! Порхающая, легкая, как зефир, очаровательница лежала в вольтеровских креслах с разинутым ртом и раздутыми, как у арабской лошади, ноздрями, а по лицу, как мутные ручьи весной, текут смешанные с потом белила и румяна.

– Отвратительно! – сказал Карл Великий и обратился вспять. Я за ним, а бедный Губер! Воистину бедный! Он только что кончил приличный случаю комплимент и, произнеся фамилию Брюллова, оглянулся вокруг себя, а Брюллов исчез. Не знаю, как он выпутался из беды.

Оставалось еще один акт балета, но мы оставили театр, чтобы не портить десерта капустой, как выразился Брюллов. Не знаю, посещал ли он балет после «Хитаны», знаю только, что он никогда не говорил о балете.

Обращаюсь к моему герою. После слов, сказанных мне Брюлловым: «Фундамент положен», в воображении моем надежда начала принимать более определенные формы. Я начал думать, чем бы лучшим занять своего ученика. Домашние средства мои ничтожны. Я думал об античной галерее. Андрей Григорыч (смотритель галереи), пожалуй, и согласился бы, да в галерее статуи так освещены, что рисовать невозможно. После долгих размышлений я с двухгривенным обратился к живому Антиною, натурщику Тарасу, чтобы он в неклассные часы пускал моего ученика в гипсовый класс. Так и сделано. В продолжение недели (он и обедал в классе) нарисовал он голову Люция Вера, распутного наперсника Марка Аврелия, и голову «Гения», произведение Кановы. Потом перевел я его в фигурный класс и велел ему на первый раз нарисовать анатомию с четырех сторон. В свободное время я приходил в класс и поощрял неутомимого труженика фунтом ситника и куском колбасы. А постоянно он обедал куском черного хлеба с водою, если Тарас воды принесет. Бывало, и я полюбуюсь Бельведерским торсом, да не утерплю и сяду рисовать. Дивное, образцовое произведение древней скульптуры! Недаром слепой Микель-Анжело ошупью восхищался этим куском отдыхающего Геркулеса. И странно. Некий господин Герсеванов в своих путевых впечатлениях так художнически верно оценивает педантическое произведение Микель-Анжело «Страшный суд», фрески божественного Рафаэля и многие другие знаменитые произведения скульптуры и живописи, а в торсе Бельведерском видит только кусок мрамора, ничего больше. Странно!

После анатомии сделал он рисунок Германика и танцующего фавна. И в одно прекрасное утро я его представил Карлу Великому. Восторг его был неописанный, когда Брюллов ласково и снисходительно похвалил его рисунок.

Я в жизнь мою не видал веселее, счастливее человека, как он был в продолжение нескольких дней. «Неужели он всегда такой добрый, такой ласковый?» – спрашивал он меня несколько раз. «Всегда», – отвечал я. «И эта красная – любимая его комната?» – «Любимая», – отвечал я. «Все красное! Комната красная, диван красный. Занавеси у окна красные. Халат красный, и рисунок красный! Все красное! Увижу ли я еще его когда-нибудь так близко?» И после этого вопроса он начинал плакать. Я, разумеется, не утешал его. Да и какое участие, какая утеха может быть выше этих счастливых, этих райских, божественных слез? «Все красное!» – повторял он сквозь слезы.

Красная комната, увешанная большею частию восточным дорогим оружием, сквозь прозрачные красные занавеси освещенная солнцем, меня, привыкшего к этой декорации, на минуту поразила, а ему она осталась памятною до гроба. После долгих и страшных испытаний забыл он все: и искусство, духовную жизнь свою, и любовь, отравившую его, и меня, искреннего друга своего, – все и все забыл, но красная декорация и Карл Павлович было его последним словом.

На другой день после этого визита встретился я с Карлом Павловичем, и он спросил у меня адрес, имя и фамилию его господина. Я сообщил ему. Он взял извозчика и уехал, сказавши мне:

– Вечером зайдите! Вечеру я зашел.

– Это самая крупная свинья в торжевских туфлях! – этими словами встретил меня Карл Павлович.

– В чем дело? – спросил я его, догадавшись, о ком идет речь.

– Дело в том, что вы завтра сходите к этой амфибии, чтобы он назначил цену вашему ученику.

Карл Великий был не в духе. Долго он молча ходил по комнате, наконец плюнул и проговорил: «Вандализм! Пойдемте наверх», – прибавил он, обращаясь ко мне. И мы молча пошли в верхние комнаты, где помещались его спальня, библиотека и вместе столовая.

Он велел подать лампу. Просил меня читать что-нибудь вслух, а сам сел кончать рисунок – сепию «Спящая одалиска» для альбома, кажется, Владиславлева.

Мирные занятия наши, однако ж, продолжались недолго. Его, как видно, все еще преследовала свинья в торжевских туфлях.

– Пойдемте на улицу, – сказал он, закрывая рисунок.

Мы вышли на улицу, долго ходили по набережной, потом вышли на Большой проспект.

– Что, он у вас теперь дома? – спросил он меня.

– Нет, – отвечал я, – он у меня не ночует.

– Ну, так пойдемте ужинать. – И мы зашли к Дели.

Я видел немало на своем веку разного разбора русских помещиков: и богатых, и средней руки, и хуторян. Видел даже таких, которые постоянно живут во Франции и в Англии и с восторгом говорят о благосостоянии тамошних фермеров и мужичков, а у себя дома последнюю овцу у мужика грабят. Видел я много оригиналов в этом роде. Но такого оригинала, русского человека, который бы грубо принял у себя в доме К. Брюллова, не видал.

Любопытство мое в сильной степени было возбуждено; я долго не мог заснуть, все думал и спрашивал сам себя, что это такое за свинья в торжевских туфлях. Любопытство мое, однако ж, охладело, когда я на другой день поутру стал надевать фрак. Благоразумие взяло верх. Благоразумие говорило мне, что эта свинья не такая интересная редкость, чтобы из-за нее жертвовать собственным самолюбием, хотя дело требовало и большей жертвы. Но вот вопрос: а если и я, по примеру моего великого учителя, не выдержу пытки? Тогда что?

Подумавши немного, я снял фрак, надел свое повседневное пальто и отправился к старику Венецианову. Он практик в подобных делах, ему, верно, не раз и [не] два приходилось иметь стычки с этими оригиналами, стычки, из которых он [выходил] с честью.

Венецианова я застал уже за работою. Он делал тушью рисунок собственной же картины «Мать учит дитя молиться Богу». Рисунок этот предназначался для альманаха Владиславлева «Утренняя заря».

Я объяснил ему причину несвоевременного визита, сообщил адрес амфибии, и старик оставил работу, оделся, и мы вышли на улицу. Он взял извозчика и уехал, а я возвратился на квартиру, где уже и застал моего веселого счастливого ученика. Веселость его и счастливость как будто омрачались чем-то. Он был похож на человека, желающего поделиться с приятелем великою тайной, но и боится, чтобы эта тайна не сделалась не тайной. Прежде чем я снял пальто и надел блузу, я заметил, что с моим приятелем что-то так, да не так.

– Ну, что же у тебя новенького? – спросил я его. – Что ты делал вчера ввечеру? Как поживает твой хозяин?

– Хозяин ничего, – отвечал он запинаясь. – Я читал «Андрея Савояра», пока не легли спать. А потом зажег стеариновую свечу, что вы мне дали, и рисовал.

– Что же ты рисовал? – спросил я его. – С эстампа или так что-нибудь?

– Так, – сказал он краснея. – Я недавно читал сочинения Озерова, и мне понравился «Эдип в Афинах», так я пробовал компоновать...

– Это хорошо. Ты принес с собой свою композицию? Покажи мне ее.

Он вынул из кармана небольшой сверток бумаги и, дрожащими руками развертывая его и подавая мне, проговорил:

– Не успел пером обрисовать.

Это было первое его сочинение, которое с таким трудом решился он показать мне. Мне понравилась его скромность или, лучше сказать, робость. Это верный признак таланта. Мне понравилось также и самое сочинение его по своей несложности: Эдип, Антигона и вдали

Полиник. Только три фигуры. В первых опытах редко встречается подобный лаконизм. Первоначальные опыты всегда многосложны. Молодое воображение не сжимается, не сосредоточивается в одно многоговорящее слово, в одну ноту, в одну черту. Ему нужен простор, оно парит и в парении своем часто запутывается, падает и разбивается о несокрушимый лаконизм.

Я похвалил его за выбор сцены, посоветовал читать, кроме поэзии, историю, а больше всего и прилежнее срисовывать хорошие эстампы, как, например, с Рафаэля, Вольпато или с Пуссена, Одрана.

– И те, и другие есть у твоего хозяина, вот и рисуй в свободное время. А книги я тебе буду доставать. – И тут же снабдил его несколькими томами Гилиса («История Древней Греции»).

– У хозяина, – проговорил он, принимая книги, – кроме тех, что на стенах висят, у него полная портфель эстампов, но он мне не позволяет рисовать с них: боится, чтобы я не испортил. Да... – продолжал он, улыбаясь, – я сказал ему, что вы водили меня к Карлу Павловичу и показывали мои рисунки и что... – тут он запнулся, – и что он... да, впрочем, я сам тому не верю.

– Что же? – подхватил я. – Он не верит, что Брюллов похвалил твои рисунки?

– Он не верит, чтобы я и видел Карла Павловича, и назвал меня дураком, когда я его уверял.

Он хотел еще что-то говорить, как в комнату вошел Венецианов и, снимая шляпу, сказал усмехаясь:

– Ничего не бывало! Помещик как помещик! Правда, он меня с час продержал в передней. Ну, да это уж у них обычай такой. Что делать, обычай – тот же закон. Принял меня у себя в кабинете. Вот кабинет мне его не понравился. Правда, что все это роскошно, дорого, великолепно, но все это по-японски великолепно. Сначала я повел [речь] о просвещении вообще и о филантропии в особенности. Он молча долго меня слушал со вниманием и наконец прервал: «Да вы скажите прямо, просто, чего вы хотите от меня с вашим Брюлловым? Одолжил он меня вчера. Это настоящий американский дикарь!» И он громко захохотал. Я было сконфузился, но вскоре оправился и хладнокровно, просто объяснил ему дело. «Вот так бы давно сказали. А то филантропия! Какая тут филантропия! Деньги, и больше ничего! – прибавил он самодовольно. – Так вы хотите знать решительную цену. Так ли я вас понял?» Я ответил: «Действительно так». – «Так вот же вам моя решительная цена: 2500 рублей! Согласны?» – «Согласен», – отвечал я. «Он человек ремесленный, – продолжал он, – при доме необходимый...» И еще что-то хотел он говорить. Но я поклонился и вышел. И вот я перед вами, – прибавил старик улыбаясь.

– Сердечно благодарю вас.

– Вас благодарю сердечно! – сказал он, крепко пожимая мне руку. – Вы мне доставили случай хоть что-нибудь сделать в пользу нашего прекрасного искусства и видеть наконец чудака: чудака, который называет нашего великого Карла американским дикарем. – И старик добродушно засмеялся. – Я, – после смеха сказал он, – я положил свою лепту. Теперь за вами дело. А в случае неудачи я опять обращусь к Аглицкому клубу. До свидания пока.

– Пойдемте вместе к Карлу Павловичу, – сказал я.

– Не пойду, да и вам не советую. Помните пословицу: «Не вовремя гость хуже татарина». Тем паче у художника, да еще и поутру. Это бывает хуже целой орды татар.

– Вы меня заставляете краснеть за сегодняшнее утро, – проговорил я.

– Нисколько. Вы поступили как истинный христианин. Для труда и отдыха мы определили часы. Но для доброго дела нет назначенных часов. Еще раз сердечно благодарю вас за ваш сегодняшний визит. До свидания! Мы сегодня обедаем дома. Приходите. Бельведерского если увидите, тащите и его за собой, – прибавил [он] уходя. Бельведерским называл он Аполлона Николаевича Мокрицкого, ученика Брюллова и страстного поклонника Шиллера.

На улице расстался я с Венециановым и пошел сообщить Карлу Павловичу результат собственной дипломатии. Но, увы! даже Лукьяна не нашел. Липин, спасибо ему, выглянул из кухни и сказал, что они ушли в портик. Я в портик – и там заперто. (Портиком называлось у нас здание за теперишним академическим садом, где помещались мастерские Брюллова, барона Клодта, Заурвейда и Басина.) Через Литейный двор я вышел на улицу и, проходя мимо лавки Довициелли, увидел в окне кудрявый профиль Карла Великого. Увидя меня, он вышел на улицу.

– Ну что? – спросил он.

– Где вы сегодня обедаете? – спросил я.

– Не знаю. А что?

– А вот что, – говорю я. – Пойдемте к Венецианову обедать, он вам такие чудеса расскажет про амфибию, каких вы, наверное, никогда не слыхали да никогда и не услышите.

– Хорошо, пойдем, – сказал он, и мы отправились к Венецианову.

За обедом старик рассказал нам историю своего сегодняшнего визита, и, когда дошла речь до американского дикаря, все мы захохотали, и обед кончился истерическим смехом.

Между Большим и Средним проспектом, в Седьмой линии, в доме Кастюрина, нанималась большая квартира Обществом поощрения художников для своих пяти пансионеров. Кроме комнат, занимаемых пансионерами, там еще были две учебные залы, украшенные античными статуями, как-то: Венерой Медицинской, Аполлино, Германиком и группой гладиаторов. Этот приют (вместо гипсового класса под покровительством Тараса-натурщика) я прочил для своего ученика. Кроме сказанных статуй, там был еще человеческий скелет, а познание скелета для него было необходимо; тем более, что он наизусть рисовал анатомическую статую Фишера, а о скелете не имел понятия.

С такою-то благою целью, на другой день после обеда у Венецианова, сделал я визит бывшему тогда секретарю Общества В. И. Григоровичу и испросил у него позволения моему ученику посещать пансионерские учебные залы.

Обязательный Василий Иванович дал мне в виде билета на вход записку к художнику Головне, живущему вместе с пансионерами в виде старшины.

Не следовало бы мне останавливаться [на таком] жалком явлении, как художник Головня. Но как он явление редкое, тем более редкое между художниками, то я и скажу о нем несколько слов.

Сильно, резко нарисованная фигура Плюшкина бледнеет перед этим антихудожником Головнею. У Плюшкина, по крайней мере, была юность, а следовательно, и радость, хоть не полная, не ликующая радость, но все-таки радость, а у этого бедняка ничего и похожего не было на юность и на радость.

Он был пансионером Общества поощрения художников, и когда он, по конкурсу Академии художеств, должен был исполнить программу на вторую золотую медаль (сюжет программы был: Адам и Ева над трупом своего сына Авеля), для исполнения картины понадобилась женская модель; а ее в Петербурге не легко, а главное, не дешево достать можно. Парень смекнул делом и отправился к щедрому покровителю художников и тогдашнему президенту Общества поощрения художников Кикину просить вспомоществования, т. е. денег для наемки натурщицы. И, получивши сторублевую ассигнацию, зашил ее в тюфяк, а первозданную красавицу написал с куклы, которую употребляют живописцы для драпировок.

Кто знает, что значит золотая медаль для молодого художника, тот поймет отвратительную душонку юноши-скареды. Перед ним Плюшкин просто мотыга.

Этому-то нравственному уроду представил я при записке моего нравственно прекрасного найденыша.



На первый раз я сам вынул из шкафа скелет, усадил его на стуле в позиции самого отчаянного кутилы и, легкими чертами назначивши общее положение скелета, предложил ученику своему нарисовать подробности.

Через два дня я с великим удовольствием сравнивал его рисунок с анатомическими литографированными рисунками Басина и находил подробности отчетливее и вернее. Но это, может быть, увеличительное стекло виновато, в которое я смотрел на своего найденыша. Как бы то ни было, только мне его рисунок нравился.

Он продолжал в разных положениях рисовать скелет и, под покровительством натурщика Тараса, статую повешенного Аполлоном Мидаса.

Все это шло своим чередом; и своим же чередом зима уходила, а весна близилась. Ученик мой заметно стал худеть, бледнеть и задумываться.

– Что с тобою? – я спрашивал его. – Здоров ли ты?

– Здоров, – отвечал он печально.

– Чего же ты плачешь?

– Я не плачу, я так. – И слезы ручьем лилися из его выразительных прекрасных очей.

Я не мог разгадать, что все это значит? И начинал уже я думать, не стрела ли злого амура поразила его непорочное молодое сердце; как в одно почти весеннее утро он сказал мне, что ежедневно посещать меня не может, потому что с понедельника начнутся работы и он должен будет опять заборы красить.

Я как мог ободрял его. Но о намерениях Карла Павловича не говорил ему ни слова, и более потому, что сам я положительно ничего такого не знал, на чем бы можно было основать надежду.

В воскресенье посетил я его хозяина с тем намерением, что нельзя ли будет заменить моего ученика обыкновенным простым маляром.

– Почему нельзя? Можно, – отвечал он. – Пока еще живописные работы не начались. А тогда уж извините. Он у меня рисовальщик. А рисовальщик, вы сами знаете, что значит в нашем художестве. Да вы как полагаете? – продолжал он. – В состоянии ли он будет поставить за себя работника?

– Я вам поставлю работника.

– Вы? – с удивлением спросил он меня. – Да из какой радости, из какой корысти вы-то хлопочете?

– Так, – отвечал я. – От нечего делать. Для собственного удовольствия.

– Хорошо удовольствие! Зря сорить деньгами. Видно, у вас их и куры не клюют? – И, улыбнувшись самодовольно, он продолжал: – Например, по сколько вы берете за портрет?

– Каков портрет, – отвечал я, предугадывая его мысль. – И каков даваец. Вот с вас, например, я более ста рублей серебра не возьму.

– Ну, нет, батюшка, с кого угодно берите по сту целковых, а с нас кабы десяточек взяли, так это еще куда ни шло.

– Так лучше же мы сделаем вот как, – сказал я, подавая ему руку. – Отпустите мне месяца на два вашего рисовальщика, вот вам и портрет.

– На два? – проговорил он в раздумьи. – На два много, не могу. На месяц можно.

– Ну, хоть на месяц. Согласен, – сказал я. И мы, как барышники, ударили по рукам.

– Когда же начнем? – спросил он меня.

– Хоть завтра, – сказал я, надевая шляпу.

– Куда же вы? А могорычу-то?

– Нет, благодарю вас. Когда кончим, тогда можно будет. До свидания!

– До свидания!

Что значит один быстрый месяц свободы между многими тяжелыми, длинными годами неволи? В четверике маку одно зернышко. Я любовался им в продолжение этого счастливого

месяца. Его выразительное юношеское лицо сияло такою светлою радостью, таким полным счастьем, что я, прости меня Господи, позавидовал ему. Бедная, но опрятная и чистая его костюмировка казалась мне щегольской, даже фризовая шинель его казалась мне из байки, и самой лучшей рижской байки. У мадам Юргенс во время обеда никто не посматривал искоса то на его, то на меня. Значит, не я один в нем видел такую счастливую перемену.

В один из этих счастливых дней мы шли вдвоем к мадам Юргенс и встретили на Большом проспекте Карла Павловича.

– Куда вы? – спросил он нас.

– К мадам Юргенс! – отвечал я.

– И я с вами, мне что-то вдруг есть захотелось, – сказал он и повернул с нами в Третью линию.

Карл Великий любил изредка посетить досужую мадам Юргенс. Ему нравилась не сама услужливая мадам Юргенс и не служанка ее Олимпиада, которая была моделью для Агари покойному Петровскому. Ему нравилось, как истинному артисту, наше разнохарактерное общество. Там он мог видеть и бедного труженика, сенатского чиновника, в единственном, весьма не с иголки вицмундире, и университетского студента, тощего и бледного, лакомившегося обедом мадам Юргенс за деньгу, полученную им от богатого бурша-кутилы за переписку лекций Фишера. Тут многое и многое он видел такое, чего не мог видеть ни у Дюме, ни у Сан-Жоржа.

Зато всегда, когда он приходил, внимательная мадам Юргенс предлагала ему в особенной комнате накрытый стол и особенное какое-нибудь кушанье, наскоро приготовленное, от чего он, как истинный социалист, всегда отказывался. В этот же раз не отказался и велел накрыть стол в особой комнате на три прибора и послал Олимпиаду к Фоксу за бутылкой джаксона.

Мадам Юргенс земли под собой не слышала; так забегала, засуетилась, что чуть-чуть было свой новый парик не сдернула вместе с чепцом, когда вспомнила, что надо чепец переменить для столь дорогого гостя.

Для нее он был, действительно, дорогой гость.

С того самого дня, как он в первый раз посетил ее, нахлебники стали множиться со дня на день. И какие нахлебники! Не шушера какая-нибудь – художники, да студенты, да двугривенные сенатские чиновники, а люди, для которых нужна была бутылка медаку и какой-нибудь особенный бефтек.

И это весьма естественно. Если платят четвертак за то, чтобы посмотреть даму из Амстердама, то почему же не заплатить тридцать копеек, чтобы посмотреть вблизи на Брюллова? И мадам Юргенс вполне это понимала и по мере возможности пользовалась.

Ученик мой молча сидел за столом, молча и бледнея выпил стакан джаксона, и молча пожал он руку Карла Великого, и на квартиру пришел молча, а дома уже, не раздеваясь, упал на пол и проплакал остаток дня и целую ночь.

Еще неделя оставалась его независимости, но он на другой день после описанного мною обеда свернул в трубку свои рисунки и, не сказавши мне ни слова, вышел за двери. Я думал, что он пошел по обыкновению в Седьмую линию, а потому и не спрашивал его, куда он идет? Пришло время обеда – его нет, и ночь пришла – его нет. На другой день я пошел к его хозяину, и там нет. Я испугался и не знал, что думать. На третий день перед вечером он приходит ко мне более обыкновенного бледный и растрепанный.

– Где ты был? – спрашиваю я. – Что с тобою? Ты болен? Ты нездоров?

– Нездоров, – едва внятно отвечает он.

Я послал дворника [за] Жидовцовым, частным лекарем, а сам принялся раздевать его и укладывать в постель. Он, как кроткий ребенок, повиновался мне.

Жидовцов пощупал у него пульс и посоветовал мне отправить его в больницу.

– Потому, – говорит, – что горячку при ваших средствах дома лечить опасно.

Я послушался его и в тот же вечер отвез своего бедного ученика в больницу св. Марии Магдалины, что у Тюкова мосту.

Благодаря влиянию как частного лекаря Жидовцова, больного моего приняли без узаконенных формальностей. На другой день я дал знать его хозяину о случившемся, и форма была исполнена со всеми аксессуарами.

Я посещал его каждый день по несколько раз, и всякий раз, когда я выходил из больницы, мне становилось грустнее и грустнее. Я так привык к нему, я так сроднился с ним, что без него я не знал, куда мне деваться. Пойду, бывало, на Петербургскую сторону, сверну в Петровский парк (в то время еще [только] и начинавшийся), выйду к дачам Соболевского и опять назад в больницу. А он все еще горит огнем. Спрашиваю у сиделки:

- Что, не приходит в себя?
- Нет, батюшка.
- Не бредит?
- Одно только: красный и красный!
- Ничего больше?
- Ничего, батюшка.

И я опять выхожу на улицу, и опять прохожу Тюков мост, и посещаю дачу г. Соболевского, и опять возвращаюсь в больницу. Так прошло восемь дней; на девятый он пришел в себя, и, когда подходил я к нему, он посмотрел на меня так пристально, так выразительно, так сердечно, что я этого взгляда никогда не забуду. Хотел он сказать мне что-то и не мог, хотел протянуть мне руку и только заплакал. Я ушел.

В коридоре встретившийся мне дежурный медик сказал, что опасность миновалась, что молодая сила взяла свое.

Успокоенный добрым медиком, я пришел к себе на квартиру. Закурил сигару, сигара как-то плохо курится, я бросил ее. Вышел на бульвар. Все что-то не так, все чего-то недостает для моей радости. Я пошел в Академию, зашел к Карлу Павловичу, его нет дома. Выхожу на набережную, а он стоит себе у огромного сфинкса и смотрит, как по вскрывшейся Неве скользит ялик с веселыми пассажирами и за ним тянется длинная тоненькая серебряная струйка.

- Что, вы были у меня в мастерской? – спросил он меня, не здороваясь.
- Не был, – отвечал я.
- Пойдемте.

И мы молча пошли в его домашнюю мастерскую. В мастерской застали мы Липина. Он принес с свежими красками палитру и, усевшись в спокойные кресла, любовался еще не высохшим подмалевком портрета Василия Андреевича Жуковского. При входе нашем бедный Липин соскочил, переконфузился, как школьник, пойманный на месте преступления.

– Спрячьте палитру. Я сегодня работать не буду, – сказал Карл Павлович Липину. И сел на его место. По крайней мере полчаса молча смотрел он на свое произведение и, обращаясь ко мне, сказал: – Взгляд должен быть мягче. Его стихи такие мягкие, сладкие. Не правда ли? – И, не дав мне ответить, продолжал: – А знаете ли вы назначение этого портрета?

- Не знаю, – отвечал я.

Еще минут десять молчания. Потом он встал, взял шляпу и проговорил: «Пойдемте на улицу, я расскажу вам назначение портрета».

Выйдя на улицу, он сказал: «Я раздумал. Об этих вещах не рассказывают прежде времени. Притом же я вполне уверен, что вы не любопытны», – прибавил он шутя.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.